

# «Чем талантливее человек, тем труднее ему без России...»: письмо к литератору В. Е. Гущику: 1920-1927 годы / публикация Р. Казра. — Текст : непосредственный // Литературная газета. — 1986. — 17 сент. — С. 6.

АРХИВ «ЛГ»

Из писем  
А. И. Куприна

В одном из своих парижских интервью середины 20-х годов Александр Иванович Куприн заметил: «Есть люди, которые по глубине либо от отчаяния утверждают, что и без родины можно. Но, простите меня, все это притворщина перед самим собой. Чем талантливее человек, тем труднее ему без России». Эти слова были продитованы горьким опытом собственной жизни в эмиграции.

Возвращение писателя на Родину в мае 1937 года стало закономерным итогом трудного и противоречивого пути. О нем дают представление публикуемые сегодня письма. Они адресованы в Таллин (тогда — столица буржуазной Эстонии) проживавшему там литератору В. Е. Гущику, с которым Куприн подружился еще в довоенные годы в Гатчине. Переписка охватывает время с 1920 по 1927 год.

Не всегда датированные, письма Куприна были пронумерованы адресатом. Печатаются выборочно.

Принимая глубокую благодарность Лидии Константиновне Гушкиной, любезно предоставившей для публикации в «Литературной газете» до сих пор неизвестные письма А. И. Куприна,

В случае с духовным кощунством Вы правы. Но нечего лезть на рожон, зная заранее, что из вас... сердечной тоски выйдет волна в пустом сарае. <...>  
Ваш сердечно

А. Куприн

Р. С. Не слышали ли что о Гатчине?

Дорогой Владимир Ефимович!  
<...> Стихи Ваши посылаю Вам с примечаниями. Заметьте: Вы сами этого хотели. Чур, без обиды.

Скажу Вам, что жидется мне мерзко. <...> Считаю моими последовательными этапами Гатчино, Ямбург, Нарву, Ревель, Гельсингфорс, Париж, я твердо убедился, что чем глубже ты, тем жить в нем оскорбительнее, тяжелее, гадче и непереноснее. Здесь уже прямо русская бордель и школа русского предательства. А уж литературный круг — <...> настоящая клоака подлости, подсиживания, эгоизма и зависти...

Помните, я работал над переводом точа «Дон-Карлоса» Шиллера? Эта рукопись

держанного платья. Относится его создание к тем временам, когда носили смокинги и груди открытыми в ширину до подмышек, в длину до пупка. Стало быть, ему уже лет 12—15. Днем я ношу его с длинным галстуком, и он — лиджак. Вечером узенькая ленточка под воротничком, и вот вечерний шикарный костюм. Однако колени, локти и отвороты блестят так, что можно в них смотреться. И ношу я его с честью, не снимая уже два года.

Почему такая честь? Выпустили французские издательства три моих книги на французском языке: «Поединок», «Гранатовый браслет» и др. и «Суламифь». Приятно? Гм... Сначала да. Но выгоды очень мало. Рецензий масса, писателям интересно и оказать помощь голодающему брату из страны самовдов, и написать сотню умных строк этнографически-психологически-критического характера: о славянской душе, о восточном фанатизме, о русском мистицизме и русской меланхолии и т. д. Редкие люди подходят к нам с пониманием красоты и правдивости наших сочинений, но уж очень редкие. Публика же

Дорогой Владимир Ефимович!

Самое последнее, что я написал из беллетристики, был известный Вам «Однорукий Командант». С того времени я только что и способен — изрыгать публицистическую блеватину, перемешанную с желчью, кровью и бессильными не то слезами, не то соплями. Видели Вы когда-нибудь, как лошадь поднимают на паромод, на конце парового храна. Лишенная земли, она висит и плывет в воздухе, бесильная, сразу потерявшая всю красоту, со сведенными ногами, с опущенной тонкой головой... Это я. <...>

Книги наши не идут. Я должен в мясную, зеленую, молочную, булочную, колониальную. Чудо, которое всегда приходило мне на помощь в жестоких случаях, впервые отвернулось от меня.

Я скулю? Простите — невольно. Я хотел только сказать, что именно потому я так настойчиво пристаю к Вам с «Дон-Карлосом», что на нем я строю радужные мечты развиться тысячу франков. Теперь, со времени Вашего извещения о прибытии Его Светлости в Ревель, прошло более недели. Ради Бога — как Вы его отпресли? У меня трясется коленки, и меня слабит при мысли, что он пропадет. Почта из Ревеля так неаккуратна. <...> Милый, успокойте меня. Я изнервничался как старая баба и поэтому написал кислое письмо. Простите. <...>  
Всем сердцем

А. Куприн

30 Авг. (Мининика).

Простите, что долго Вам не писал, дорогой дружище, Владимир Ефимович! Все болел (какие-то у меня ночные боли между спиной и сердцем). Падаю и разлагаю душевно. Стал ворчлив. <...> А главное — хотите верить, хотите нет — основная причина моего молчания была бедность: колебание — истратил полтинник на марку или на стаканчик вина? «Карлоса» получил. Большое Вам спасибо. Сейчас его оттачиваю и отшлифовываю один док по немецкому языку (в смысле невольных ошибок). Затем пушу его в печать. <...>

Хочу домо-о-о-ой! Господи, какая тоска без языка. Ну, что это за <...> жизнь, когда ни кондуктор, ни извозчик, ни разносчик, ни швейцар, ни кабатчик, ни лажки не говорят на моем языке. Ни поблагодарить, ни отвести душу не с кем, и такая жуть без легкого, крепкого, меткого, летучего, оперенного слова. На днях я услышал новое словечко, помните «готов Тартахов»? Кто-то очень плохо шутил, а другой говорит ехидно: «Вот тут-то Менделеева и перадрернул». Я очень смеялся. Обнимаю. <...>  
Ваш сердечно

А. Куприн

Милый дружок Владимир Ефимович!  
<...> Ужасно жалко, что ничего не могу для Вас сделать, а сердцем хочется. У меня полно чертовских неудач. Кинольеса в Америке молчит. Кинольеса в Париже, кажется, неудача. Переделал «Суламифь» в пьесу. На английский и французский языки. Пойдет ли? В Париже я одичал от одиночества и общего звериного эгоизма. Привет М. И. и детям.

Ваш А. К.

18. IX. 1922

Дорогой и милый Владимир Ефимович!  
<...> А во мне, под добродушной внешностью, сидит холодный наблюдатель и скептик. <...>

Вот Вы говорите — роскошный живой город Париж. А я бы теперь охотно сидел в Ревеле или Гельсингфорсе. Да, Париж прекрасен, и — что здесь есть Ауер, с Венерой Милосской, Рафаэлем, Тицианом, Рембрандтом, Боттичелли, Леонардо да Винчи, есть музей Клоуи с бытовыми пустячками, восходящими ко II столетию до Р. Х., и т. д. Но это не наше. И, если нас прежде просили туда, широко открыли двери, теперь смотрят: «Ох, русский! Не

сделал бы какой-нибудь неприятности или неловкости. Да и вообще, зачем он тут!» Эмиграция — дерьмо. Писательская — собачье. Я уныл, беден и зол. Долго Вам не отвечал — марки не было. Но я еще во что-то верю, за что-то цепляюсь. Иначе — затан бы дыхание и подох. <...>

Милый Старикан!  
<...> «Дон-Карлос» пойдет в Германию. Дадут — и то со временем — 15000 марок. Но это менее 500 франков. За такую-то работу! Кроме того, влезли в долги. Кроме того, истрапали нервы. <...>

Все это, вместе взятое, погрузило меня на самое дно черной неподвижной апатии. И всю переписку — деловую и дружескую — я запустил. Теперь, с весной, стал как будто оживать. Переехали в Париж. <...> Впрочем, какая это, х черту, весна! Целые дни льет дождь. Квартира попалась холодная и темная. Зябнут ноги. Шумят рядом. <...> Вышли две из книг на французском языке — «Le Duel» и «Bracelet de gitanes». По 320 страниц в каждой, по 5 фр. 50 с. цена за томик. Но черта ли мне в этом? Честолюбия давно во мне нет. А какая же выгода? Русские все без денег, да и давно прочитали мое старье еще в России. А для французам мы — папуасская литература, курьез. Но курьез уже приелся: приелся наши — балет, живопись, музыка, литература. Приелся мы сами. Живем бесцельными хлебниками, без пользы и радости для хозяев, да еще все гримземся, сплотиваем и жалуемся. <...>

Не писал потому, что ровно не было о чем писать. Я всю жизнь считал себя необыкновенным удачником <...> был я как будто бы всегда в полосе доброго и веселого везения, мало трудясь для этого и мало заботясь об этом, не говоря уже о том, что из-за тысячи разных случаев я сейчас не писал бы Вам на склерной бумаге (однако пером № 86 — самым лучшим пером в мире), а уже давным-давно и очень прочно лежал бы кверху носом в земле в любой из многочисленных точек Европы.

Теперь же судьба <...> упорно не хочет поворачиваться лицом. Так бывает с женщиной: пока ты беззаботный асадник, легкий свистуч, беспечный бродяга, странник без чемодана, одинаково готово ночующий и в постели и под деревом — она любит тебя послушно, терпеливо и пританцовывая, при прощанье не плачет, при встрече смеется, но когда прибудет время твою голову, испугаешься ты жизни, и станешь благообразным, серьезным и тяжел и будешь помышлять чаще, чем надо, о завтрашнем дне и о смертном часе, то она бросит тебя и пойдет <...> к другому. <...>

Итак, дружище, ну, что было бы хорошего для Вас, утомленного, затисканного судьбой, если бы я стал писать Вам длинные сезоны, переполненные жалобами, стонами и невразумительным жалобочно-печеночно-теморридальным бурлением? Знаю, что в мире нет сочувствия, что каждому своя заусеница болонье чужого рака и что ужасно тяжело и нудно выжимать из себя вежливые сожаления. <...>

Ах, клянусь себя, что, про запас, не изучил ни одного прикладного искусства, или хотя ремесла. Не кормит паршивая беллетристика. <...>  
13.VIII.1926

Дорогой Владимир Ефимович!  
<...> есть вещи и явления, которыми надо долбить, не переставая, публику по голове как обухом. И мы правы. Но редактору ближе не истина, а подписчики. Нам остается обматериться и замолкнуть. <...>

Ваш А. Куприн

Публикация Р. КАЗРА

«Поединок» и «Гранатовый браслет».

## «Чем талантливее человек, тем труднее ему без России...»

Дорогой Владимир Ефимович!  
Не знаю и не догадываюсь, что делается с моими письмами. Я не только отвечал на каждое Ваше письмо — простыми и заказными, но послал Вам даже однажды пару парижских куколок, матерчатых: блондинку и негритянку. Ваши же письма я получаю исправно. Это что-то загадочное и похоже на объяснение крокодила-содержателем зверинца: «От головы до хвоста имеет тринадцать футов, от хвоста до головы двенадцать с половиною».

Мы живем тускло и, кажется, скоро положим зубы на полку. Работы по моей маларной части становится все меньше и меньше: пропасть съехалось художников русских со всех концов Европы. У меня падает дух и кисть не слушается. Но ногу — ни стоять в очередях, ни вырезать кусок добычи в грызне. А попасть в нужду в la belle ville de Paris! — значит погибнуть наглою смертью. Нет дня, чтобы я не вспоминал о Гатчине. Зачем уехал! Лучше голодать и холодать дома, чем жить из милости у соседа под лавкой.

Меня очень интересует судьба художника Щербова<sup>1</sup>. Хорошо бы было послать ему корзиночку чего-нибудь съестного и табачку. Да как это сделать? Если даже письма не доходят. <...>  
Ваш сердечно

Байбуров

Дорогой друг Владимир Ефимович!  
Вы меня издали преувеличиваете. Это от скуки жизни. Но знаете, что я о Вас всегда помню и всегда люблю Вас как настоящего, живого, реального человека. Если мы с Вами и могли друг другу сделать кислоту, то лишь мгновенную: да, вспомните, какие у нас тогда были нервы!

Итак: basta!  
О стихах Ваших я напишу Вам подробное письмо. Впрочем, я посоветовал бы почитать стихи Тютчева, Ал. Майкова, А. Толстого (лиричные), Бунина (раннего), Бальмонта (раннего). <...>

Проследите по этим поэтам закон размера и искусство экономии форм ради ширины мысли. Юмористические и бытовые стихи Вам даются очень хорошо. В других Вы впадаете в ложный пафос. <...>

<sup>1</sup> прекрасном городе Париже (франц.).  
<sup>2</sup> П. Е. Щербов — художник-картинист, приятель Куприна по Гатчине.  
<sup>3</sup> Так Куприн подписался из-за опасения, что его письма перехватываются.

теперь хранится или в «Союзе Драматических писателей» (Никольская, 167), во дворе, или у Бориса Ильича Бентовина (доктор, принимает по утрам, Разъезжая, 2). Надо предъявить вот этот откровенный клочок бумаги и сообщить, что я прошу выдать рукопись Д.-К. посланному лицу.

1921 г. — 3/У. Париж. А. Куприн

Денгами вышло точас же по получении известия о том, что рукопись у Вас. <...>

Ваш А. Куприн

3/У — 1921

Здравствуйте, дорогой Владимир Ефимович, с супругою Вашею Марией Ивановной и с милыми детушками Юрием да Олегом.

А я-то уж было думал, что Вы на меня обиделись за последнее мое кислое и желчное письмо. Нет? И слава Богу.

Вижу, что очень тяжело Вам жить. Что скажу? Крепитесь. <...>

Если кто-нибудь будет в Гатчине, пусть зайдет к П. Е. Щербову и спросит: не найдет ли он возможным переслать мне через Ревель, а оттуда — с Вашей помощью — в Париж несколько своих картин для продажи? Я бы устроил маленькую выставку, позвал <?> бы художников — Судейкина, Яковлева, Бахта, Гончарову, дал бы заметки в газетах. Глядишь — с Божией помощью — я скопил бы для него и его распорядителей несколько тысяч франков. <...>

Бедный Щербов. Сын его, Егорушка, умер от тифа в Саратове, в этом году. Вот что пишет о себе Щербов: «Рукотесло свое бросил. Служу помаленьку. Мертвело. Песенка, как видите, спета». Я заплакала читая. Эко, горя-то сколько.

Скажу про себя. Вражась в высшем свете — финансовом и аристократическом. Обеды, завтраки и чай у принцессы де-Помоньяк, маркизы де-Агод, графини де-Ноайль, баронессы де-Менашт, у редакторов и писателей и т. д. вплоть до обеда у великого всемирного короля жемчуга Л. М. Розенталя. Сколько надо хвастаться, чтобы входить в салоны в моем костюме — на это во всем свете отважусь только я. Да еще с независимым видом, да еще с таким французским языком!

Костюм этот — смокинг. Купил я его за сто франков (на заказ 1000) в лавке по-

упорно нас не хочет читать, а стало быть, и покупать.

Отсюда и засаленные штаны, и две темные комматюшки, и суп на три дня, и звериная эконимия на табаке, на трамваях... Однако критика сделала нас молодыми, модными. Парижане — по натуре уличные зеваки. Одно время приехал казак Ашинное верхом на лошади из Москвы — за ним бежали и его чествовали. Приехали да-гомейцы — были нарасхват.

Тот же экзотический интерес и к нам.

Я иногда по соседству за столом говорю такие отчаянные комплименты хорошеньким французенкам, что у нас в России за их двусмысленность вывели бы давно из-за стола. Ничего. Ой, ces charnants russes!

Баста. Разболтался.

Послал фильму в Америку. Жду на днях ответа. Если получу письмо и в нем отказ, шлепнусь на пол, как падающая статуя. Но, ничего, встану. Напишу еще фильму, и еще, и еще. А все же «изолью шелоном Дону».

Не теряйте и Вы голову.

Сегодня я вспомнил рассказ о Николе и пьянице. Тема очень мила. Надо только было рассказать ее проще. У Вас в слогот этой притчи много завитух и чего-то приличного — сусального. Так писал Ростопкин свои прокламации к народу московскому в 1812 г. <...>

Хотите писать по-настоящему — не страшитесь суровой школы у человека, Вас любящего. <...>  
Ваш друг А. Куприн

20. VII. 22

Дорогой Владимир Ефимович!  
<...> Мне живется туго. Писать негде. Подходит трехмесячный платеж за квартиру. Денег — фью! Кроме того, начинается мучительное воспаление нервных узлов. <...> По получении Д. К. немедленно вышло деньги.

Ваш сердечно

А. Куприн

Горячо прошу кого-нибудь из гг. членов правления С. Д. П. выдать подателю сего переведенную мною пьесу Шиллера «Дон-Карлос».

Просто до зарезу нужно!!! Завела нужда.

А. Куприн

10 августа

1 О. эти очаровательные русские! (франц.)